



ЧЕСЛАВ МИЛОШ

Родная Европа

<Россия>

Не вижу смысла прикидываться белой вороной и скрывать болезнь, гложущую любого поляка; наоборот, ее нужно признать и привыкнуть, в конце концов, обходиться с ней по возможности беспристрастно. Итак, поляки и русские друг друга не любят. Точней, испытывают друг к другу самые разные неприязненные чувства от презрения до ненависти, что, впрочем, не исключает какой-то непонятной взаимной тяги, всегда, тем не менее, окрашенной недоверием. Между ними стоит — воспользуюсь словами Джозефа Конрада — *incompatibility of temper*¹. Может быть, любой народ, если смотреть на него как на единое целое, а не общество личностей, способен лишь оттолкнуть, и соседи узнают на его примере одну только неприятную правду о людях? Полякам, не исключая, известно о русских то, о чем те и сами подозревают, но не хотят себе в этом признаться, — и наоборот. Поэтому неприязнь к полякам у националиста Достоевского — что-то вроде самообороны. Уважительно он отзывается о них только в “Записках из Мертвого дома”, хотя и здесь сотоварищи по каторге, бронированные католичеством и патриотизмом, на каждом шагу подчеркивающие свою чужеродность, если не прямое превосходство над прочими, не пробуждают в нем теплых чувств. Похоже, каждое столкновение с русскими полякам в тягость и настраивает их на самозащиту, поскольку разоблачает перед самими собой.

Описать запутанные истоки распри так же трудно, как причины застарелой вражды двух семейств, испокон веку живущих на одной улице; они могли бы показаться чем-то сугубо местным и провинциальным, не скрывайся за ними начатки событий мирового масштаба. Россия сумела стать такой, какой стала, только

упразднив граничившую на юге с Турцией польско-литовскую республику и начав в 1839 году в административно-принудительном порядке обращать в православие жителей огромных территорий, по большей части — униатов, а стало быть — жертвуя поляками, подчинявшимися папе Римскому. Там же, где униатская церковь, как в Галиции при Габсбургах, удержалась, ее приверженцев силой обратили в православие уже после второй мировой войны — эпизод, вне связи с прошлым попросту непонятный.

Обычно говорят, что поляки недоброжелательны к русским, помня о пережитых обидах. Отчасти это так. И корни здесь уходят куда глубже двух последних веков, а любые перемены в Европе свидетельствуют: при любых внешних сдвигах основа остается прежней. Ее не коснулись ни революция во Франции, ни октябрьский переворот в России, ни послевоенный приход к власти коммунистов в Польше. Может быть, каждая цивилизация несет отпечаток того периода, который был для нее ключевым. Франция обязана всем своему городскому сословию — силе, созидательной и мощной уже за два столетия до Революции. А в Польше в эту эпоху складывалась дворянская культура, и польский крестьянин или рабочий по сей день колют ею глаза русскому, сплошь и рядом неся на себе ее следы, почему и получают от него злорадную кличку “пана”.

Начало всему — шестнадцатый и семнадцатый века. Сейчас трудно себе даже представить, что польский язык — язык господ, к тому же господ просвещенных — олицетворял изысканность и вкус на востоке до самого Полоцка и Киева. Московия была землей варваров, с которыми — как с татарвой — вели на окраинах войны, но которыми особенно не интересовались: в тогдашней польской словесности чаще встретишь портрет венгра, немца, француза или итальянца, нежели упоминание о подданных русского царя. У этих последних авторы отмечают непостижимую покорность произволу властей, склонность нарушать данное слово, коварство и высмеивают дикость их обычаев (так французам казались дикими обычаи Сарматии). И движение идей, и колонизация лесостепной зоны шли с запада на восток. Все ценное — образцы ремесла, архитектуры и письменности, спора гуманизма и Реформации — приходило в Польшу из Фландрии, Германии, Италии. Если какие заимствования с востока и были, то — через посредство Великого торгового пути — лишь из турецких земель, особенно во всем, что касалось сбруи, упряжи и соответствующего словаря. Московия же той поры, понем-

ногу превращаясь в Россию, при всем ее большем или меньшем могуществе не представляла собой для поляков ничего привлекательного. Оставившие в польской культуре несводимый отпечаток XVI и XVII столетия для России наступили лишь в XIX веке. Из этого ощущения пустынной полосы со стороны востока у поляков сложился образ России как чего-то запредельного, находящегося за краем света. Свое поражение в войне поляки встретили недоуменно, как восприняли бы, наверно, победу татар: если в ней и крылся какой-то смысл, то разве что наказания за грехи. Только я-то думаю, что настоящим грехом поляков оставалась сама эта веками не затихавшая — в литературе, на сеймиках, в парламенте — дискуссия о собственных грехах, из которой на деле так никогда ничего и не следовало.

Побежденные презирали победителей, не видя в них ни малейших достоинств, кроме слепого послушания приказу. А оно раздражало. Закрадывалась мысль: да, вы сильны, но какой ценою? Напомню, что между русскими и польскими писателями — как правило, эмигрантами, жившими в Париже, — не умолкал спор, в котором ни одна из сторон не щадила другую. Антипольские стихи Пушкина дышат гневом на безумную гордыню побежденных, не признающих, что проиграли бесповоротно, а все еще мечтающих о возмездии, хитрящих и настраивающих дипломатические канцелярии Европы против России. В конце концов, в этих строках нет ничего, кроме проклятий народу, который пытается отстоять свою независимость. В них еще жива память о давнем соперничестве: существование самостоятельной Польши снова поставило бы в повестку дня вопрос, кому должны отойти Полоцк и Киев, иначе говоря — быть или не быть Российской Империи. Не зря Пушкин предсказывает, что “славянские ручьи сольются в русском море”.

Моральная ситуация польского поэта, революционера и союзника итальянских карбонариев, была, понятно, не в пример лучше, чем у его собрата по перу (и товарища, пока их не развела политика), наполовину узника царского двора. Жестокий антироссийский памфлет Мицкевича, написанный стихами, до сего дня образцовыми по лаконизму, попадает точно в цель как раз потому, что ненависть к самодержавию соединяется здесь с сочувствием к его жертве — народу России. Увиденное польским поэтом по сути не расходится с гоголевскими сатирами, хотя есть тут и нечто новое: все-таки на страну смотрит иностранец, чьи привязанности не смягчают критического взгляда. Его приводит в ужас бесчеловечность этих просторов, бесчеловечность отноше-

ний между людьми, пассивность и апатия подданных. И сам населяющий эту страну народ пугает его, как бесформенная глыба, которой еще не коснулся искусный резец истории:

Но вот, наконец, повстречались мне люди,
Их шеи крепки и могучи их груди.
Как зверь, как природа полных краев,
Тут каждый и свеж, и силен, и здоров.
И только их лица подобны донине
Земле их — пустынной и дикой равнине.
И пламя до глаз их еще не дошло
Из темных сердец, из подземных вулканов,
Чтоб, вольности факелом ярким воспрянув,
Той дивной печатью отметить чело,
Которой отмечены люди Восхода
И люди Заката, вкусившие яд
Падений и взлетов, надежд и утрат,
Чьи лица — как летопись жизни народа.
Здесь очи людей — точно их города,
Огромны и чисты. И, чуждый смятенью,
Их взор не покроется влажной тенью,
В нем грусть состраданья мелькнет без следа.
Глядишь на них издали — яркие и чудны,
А в глубь их заглянешь — пусты и безлюдны.
И тело людей этих — грубый кокон,
Хранит несозревшую бабочку он,
Чьи крылья еще не покрылись узором,
Не могут взлететь над цветущим простором.
Когда же свободы заря заблестит, —
Дневная ли бабочка к небу взлетит,
В бескрайнюю даль свой полет устремляя,
Иль мрака создание — совка ночная?²

Поэма Мицкевича суммирует взгляды поляков на Россию. Через несколько десятков лет этот же страх перед бесформенностью и моральным хаосом выплеснется в романе Джозефа Конрада “Under Western eyes”³. Хотя сам автор этого не признавал, по моему, его книга задумана как спор с русским мессианством Достоевского.

Сегодня, когда я пишу эти строки, гитлеризм отошел в прошлое. Но, по всей видимости, не отошли в прошлое распространенные в свое время среди немцев взгляды на славян — и осо-

бенно на ближайших соседей поляков — как на полулюдей. Нацисты использовали эти взгляды, оправдывая самые чудовищные злодеяния. Не стоит, однако, впадать в крайности: разумеется, поляки знают, какие из их пороков позволили немцам утвердиться в столь приятном чувстве собственного превосходства, — разгильдяйство, безрукость (худые мосты и раскисшие дороги входят в типовой для европейской литературы образ Польши еще со времен средневековья), легкомыслие, пьянство, неспособность устроить жизнь *gemutlich*⁴. Понимают они и свои преимущества, редко встречающиеся у немцев, которых зовут за это тупицами и тугодумами, — свою фантазию, ироничность, дар импровизации, издевку над всякой властью, позволяющую как бы растопить любую политическую систему изнутри (так итальянцы “очеловечили” фашизм, превратив его в подобие маскарада). Столь охотно подчеркивавший свое польское происхождение Фридрих Ницше знал, что делает.

Так или иначе, контраст между двумя этими стереотипами мог бы послужить полякам наглядным уроком, заставив вдуматься в их отношение к русским. Ведь именно в России неумение обустроить окружающую жизнь, иначе говоря — нерадивость во всем, относящемся к *gemutlichkeit*⁵, помноженная на взяточничество и казнокрадство, достигли масштабов воистину невиданных, а любое организаторское усилие давало результат лишь в том случае, если опять-таки служило прямому укреплению все той же власти. И как раз поляки — всегда на диво усердные за границей — оказываясь по принуждению или доброй воле в России, выступали там в роли цивилизаторов. Конечно, их общее суждение о русских — не в пример мнению немцев о них самих — всегда оставалось неоднозначным. Но, что ни говори, в нем неистребимо ощущался оттенок пренебрежения, приправленного жалостью. Традициям ли благодаря, католическому кодексу морали или принадлежности к Западу, но поляки так или иначе чувствовали свое превосходство. Их бесило какое-то оловянное спокойствие в глубине русского характера, долготерпение русских, их упрямство, их чуждое людям обдуманного компромисса стремление к крайностям, отчего и память о понесенном разгроме была особенно унижительной. А для русских польская привычка к условным реверансам, улыбкам, вежливости и лести выглядела пустой формальностью и потому отдавала фальшью. Они, со своей стороны, пестовали в себе чувство превосходства над легковесными, неглубокими, мотыльковыми поляками с их раздражительным гонором и тягой к самосожжению в герои-

ческом и бессмысленном порыве. Достаточно пронизательные, чтобы не путать мучимую отсталостью от Запада, более старую культурную формацию с нечистой совестью прихлебателей самодержавия, они вполне отдавали себе отчет в том, почему в польском воздухе носится так и не брошенное по их адресу слово “варвары”. Их возбуждало именно то, что отталкивало: поэтичность, ирония, легкое отношение к жизни, латинский церковный обряд.

Поляки очеловечивали себя, влюбляясь в Запад, не отрывая глаз от Франции. С родиной Монтеня их связывало лишь то, что они постепенно — поколение за поколением — освоили и впитали. Это не так мало. И все же структура французского общества была в корне иной. Как с головы до пят дворянину (или наследнику дворянской культуры) понять с головы до пят обывателя? Структура общества скорее сближала Польшу с Россией: и там, и здесь капитализм возник поздно, еще не оставив необратимых следов в психике. Расчеты поляков на помощь Запада, питавшиеся по преимуществу верой в пустые посулы, оказались обмануты. Наполеона разбили, а вслед за ним канули и польские легионы, которые он успел бросить против повстанцев на Гаити, где еще и сегодня встречаешь чернокожих людей с польскими фамилиями — потомков солдат, так и не сумевших вернуться в Европу. И все же именно наполеоновская легенда окончательно кристаллизовала политические установки поляков, всегда принимавших за аксиому, будто свобода — это “веяние Запада”. Позже, надеясь свергнуть царей и тиранов, они ставили на демократическую революцию. Но революции гасли без видимых результатов, а Крымскую войну даже при желании не удалось бы выдать за крестовый поход.

На протяжении всего девятнадцатого века в поляках укреплялось что-то вроде “комплекса Кассандры”. Если исключить минутные, всегда несколько риторические приступы гнева и оставить в стороне двух таких ярких русофобов среди пишущей братии, как Карл Маркс и маркиз де Кюстин, то поляки постоянно сталкивались с непостижимой для них любовью западноевропейцев и к России, и к ее символу — власти русского царя. Сколько они ни кричали, что на просторах Евразии зреют гигантские амбиции и гигантские возможности, союзники, вежливо выслушав все это, отправлялись за сведениями о неблагонадежных элементах в российское посольство. Поэтому чувства поляков к Западу всегда оставались по меньшей мере двусмысленными, а то и втайне злорадными.

Казалось, борьба с царизмом должна была породнить польских и русских революционеров. Но, что бы там ни толковали

учебники, прочный союз между этими одинаково готовыми пожертвовать собой и одинаково образованными (поскольку принадлежавшими и там, здесь к просвещенным классам) людьми затруднялся той же *incompatibility of temper*⁶, иными словами — различием исторических формаций. Даже самые радикальные поляки опирались на богатейшие внутренние ресурсы, любя собственное прошлое и потому — зачастую бессознательно — видя в революции не начало чего-то, нигде и никогда не существовавшего в помине, а средство распространить на всех давние парламентские привилегии дворянства. Если революция несла с собой справедливость, то в первую очередь ей предстояло упразднить господство одних народов над другими, восстановив тем самым нарушенную преемственность государственного существования. Стремление реформировать общество всегда шло у нас рука об руку со стремлением к независимости, но поскольку это последнее объединяло (пусть не во всем) и постепенцев, и консерваторов, то острота наиболее радикальных программ притуплялась. Другое дело — русские революционеры: их в ту пору занимало совсем иное. О своем суверенном — да еще как! — государстве они могли думать лишь с горечью. Ничто — ни первейшая опора трона, религия, ни прежние органические устои, которых они не любили, видя в них только цепи и всевластие царей, — не сдерживало их мечтаний. Поэтому они и обращались исключительно к будущему, ставя целью смести все и начать на земле, обращенной в *tabula rasa*⁷, строить наново. Движение нигилистов, со всеми его неисчислимыми последствиями, не коснулось Польши. И даже когда революционеры обоих народов приходили вроде бы к полному взаимопониманию, им так и не удавалось забыть о яблоке раздора — Белоруссии и Украине. Упрекая своих польских соратников в том, что они идут по пути Речи Посполитой, постепенно полонизировавшей эти края, поддерживая униатскую или грекокатолическую церковь, русские говорили правду. Но правы были и поляки, упрекая теперь уже своих русских сотоварищей в замыслах русифицировать земли, языком официальных бумаг называемые — как единственно возможное и само собой разумеющееся — Западной Россией. А поскольку обе стороны признавали тамошние языки всего лишь местными диалектами, то все то дело о *po man's land*⁸ окончательно тонуло в зыбкости и тумане.

В начале века иные наши марксисты, увидев, что национальное чувство гасит революционные порывы и ведет к классовому миру, объявили задачей номер один переворот в масштабах всей

империи и подняли голос против движения за независимость. Эта ошибка Розы Люксембург дорого обошлась ее приверженцам и наследникам. Представьте себе сегодня призыв к революции в Африке с условием, что она останется частью Франции.. Социалисты-”независимцы” — и среди них Пилсудский — естественно, взяли верх. Из-за безвластия своего восточного соседа Польша вышла из первой мировой войны независимой, а война между ней и Советской Россией в 1920 году стала народной, получив поддержку польских рабочих и крестьян. Некоторые позднейшие события на других континентах — скажем, в арабских странах — помогают понять такие черты установившегося тогда порядка, как подогревание народных страстей, господствующее положение интеллигенции, в социологическом смысле прежде всего связанной в Польше (в отличие от опирающейся на фермеров Прибалтики) с поместьями, переживавшими уже экономический закат, или, наконец, роль армии.

Еще один ключ к ситуации тех лет — поражающая бесчисленными парадоксами ненависть левых к правой группировке так называемых народных демократов. Эти последние склонялись в прошлом к соглашательству с царем, сулившим “мир”, левые же следовали традициям бунтовщическим и антироссийским. Они-то в первую голову и раздули легенду об осмотрительности Пилсудского. И когда тот, опираясь на армию, пришел к власти, левые увидели в этом если не полный свой успех, то, по крайней мере, меньшее зло из возможных — барьер, спасающий от напора правых. Однако с концом парламентаризма и свободной игры политических сил как социал-демократы, так и прогрессисты любых мастей с неизбежностью вступили в пору постепенного распада. А что до наследников Розы Люксембург, коммунистов, то они нарушили всеобщее табу, и их трагедия свелась к метаниям в тупике. Шансов они имели не больше, чем, скажем, мексиканская партия, которую бы обвинили в попытке присоединить страну к Соединенным Штатам. С одной стороны, по ним стреляла полиция, с другой — Сталин, в конце концов завершивший игру, приказав в 1938 году прикончить вызванное в Москву руководство. Так исполнилось — правда, в перевернутом виде — предвидение Маркса, который в пору выхода “Коммунистического манифеста” считал одним из условий революции в Европе разгром восточной империи и восстановление Польши в границах 1772 года.

Маркс, нравится нам это теперь или нет, рассуждал о “европейской цивилизации” и делил народы на “плохие” и “хорошие”.

На восточных окраинах той цивилизации он помещал три народа, к которым относился с симпатией, видя в ней создателей и приверженцев свободы, — поляков, венгров и сербов. Панславизма он не переносил и — за двумя перечисленными исключениями — питал явную антипатию к славянам, всегда готовым, как он не раз говорил, служить слепым орудием тирании. Именно поэтому его статьи о международной политике производят на польских читателей действие необычайное: их мог бы написать поляк XIX века. Насколько точны оказались его тогдашние предсказания, можно убедиться и сегодня. Среди всех народов мира истинная и взаимная приязнь связывает поляков только с венграми и сербами.

Для моего поколения все эти, уже ставшие прошлым, сложности казались туманными и далекими. Мы росли в обычном государстве, чьи блеск и нищета оставались его внутренним делом, поскольку все так или иначе решалось в Варшаве, а не где-нибудь еще. Муки, заговоры, ссылка в Сибирь поминались в учебниках и, конечно же, вызывали сочувствие, но разум подталкивал нас относиться к романтическому пафосу прошлого с известной улыбкой. Россия в мыслях присутствовала, но как-то смутно. В конце концов, спор был закончен, нас разделяли пограничные столбы, а на страже стоял запрет вдумываться, исключена ли у нас их система. Марксизм, революция и прочее были их и только их делом. У себя пусть творят все, что заблагорассудится, нас это не трогает. Легко теперь назвать эту точку зрения глупостью. Но в ту пору она была общепринятой, а запретный порог — реальным, и всякий политик, не принявший их в расчет, совершил бы грубейшую ошибку.

В краю, зажатом между Германией и Россией, эмоциональные детерминанты складывались везде по-разному. В северо-западных и южных областях, по-прежнему числившихся в составе прусской и австрийской империй, такой детерминантов оставалась в первую очередь опора на традиционный немецкий “*Drang nach Osten*”⁹. Кроме чудовищного мифа об ордена крестоносцев, немцы не имели ко мне ни малейшего касательства, языка их я не знал; при всем том, армия кайзера Вильгельма не оставила по себе особенно неприятных воспоминаний в наших краях. Крутя, как многие мои соотечественники, пальцем у виска при виде крепнущего гитлеризма, я глубоко переживал скорее уж драму эпохи в целом, чем задумывался над ролью в ней этих неотличимых друг от друга марсиан. Политику я зашифровывал в космических образах. А Россия была, на первый (и только

на первый!) взгляд, совершенно конкретна: памятные с детства хаос и безмерность, но прежде всего — язык. За столом в нашем бедном и темном (как я теперь понимаю) доме русский был языком юмора именно потому, что его волнующе-брутальные оттенки никакому переводу не поддавались. В переводе такой, к примеру, отрывок из Щедрина, где два сановника осыпают друг друга бранью посреди веселящегося простонародья: “И ругались так ужасно, что восторженные босяки ежеминутно кричали “ура”¹⁰, — попросту терял смысл. Главное, что через язык, притягивающий поляков и высвобождающий в них славянскую половину души, они интуитивно прикасались к самой сути русского: в языке было все, чему вообще стоило учиться у России. Но притягивал и, вместе с тем, настораживал он их — в этом, вероятно, и состоял урок — именно своей многозначностью. Нужно было втянуть воздух и нутряным басом выдохнуть: “Вырыта заступом яма глубокая”, — чтобы следом, беглым тенорком, прошебетать то же по-польски: “Wykopana szpadlem jama gleboka”. Ритмический рисунок ударных и безударных в первом случае выражал понурость, мрачность и силу, во втором — легкость, свет и слабость. Иначе говоря, с языком учились самоиронии и, вместе с тем, осмотрительности.

Однако понимание опасности мои сверстники перекладывали на других, а политический тупик, уже окрашивавший и мысль, и слово, старались так или иначе замаскировать. Им не приходило в голову, что отправленный в музей мартиролог вдруг придется начинать сызнова. А у меня если и было предчувствие катастрофы, то самое общее, в масштабе планеты и уж никак не страны. Это, кстати, должно было рано или поздно привести меня еще к одному конфликту с окружающими. Большинство поляков уже в первый месяц Второй мировой войны предпочло одним прыжком вернуться к старому и опереться на привычные шаблоны. Двадцать лет государственного суверенитета — срок слишком короткий, и нажитые за эти годы привычки стерлись, как пыльца с мотыльковых крылышек — в один миг. Действовало и сходство ситуаций: раздел страны между двумя врагами, тюрьмы, депортация, Сибирь, ставка на Францию и Англию, польские легионы на Западе. Политические идеи эмиграции сложились из тех же шаблонов. Освобождения ждали от разгрома и Германии, и России, поскольку так было в Первую мировую. Однако, как справедливо замечено, история однократна, а повторяясь — перемешивает трагедию с кровавым гротеском. Многие из нас, созревших мыслью в условиях, когда народные поры-

вы могли вызвать разве что скептическую усмешку, пережили за годы войны нестерпимый внутренний раскол: чудовищно тяжело признаваться себе, что и умом, и глазами видишь все ту же фальшь застарелых штампов, когда этими штампами охвачены миллионы втоптаных в грязь и казнимых катами людей.

Все мы не раз попадали в ситуации, вынуждавшие как-то дитиллировать прежние смутные предчувствия, очищая их от случайностей и сводя к главному; вместе с тем, такие ситуации каждый раз бывают настолько непросты, что, пожалуй, правильной видеть в них своего рода метафоры, которые ведь всегда ближе к реальности, чем та или иная теория. Поэтому я предпочту не отправляться за самим собой в детские годы, а лучше шагну вперед и даже выйду за пределы Второй мировой войны в самый ее конец. Картина, как сейчас стоящая передо мной во всех подробностях, датируется январем 1945 года.

В большой горнице деревенского дома на лавках под стенами расселись около дюжины советских солдат и старшин. На коленях, обтянутых ветхим штатским сукном, они держали жестянку табаку, сворачивая сигарки из папиросной бумаги. Я их, напивших плечами с обеих сторон (на лавке было тесно), совершенно не отделял сейчас от некоей мифической России. Может быть, человеку чужому, никогда прежде не встречавшемуся с русскими и не разбиравшему интонаций их голоса или смысла жестов, они показались бы чем-то новым, невиданным. Для меня же они были законными правопреемниками тех сокровищ, из которых черпали в свое время Достоевский и Толстой. И так же, как их предки разбили Наполеона, они разбили Гитлера. Взгляды всех сходились к центру избы, где стоял мужчина лет под тридцать, в белом кожаном до пят, с хорошо скроенным лицом распротраненного в прирейнских областях типа. Пленный немец, завоеватель — и в полной их власти. Той зимой трупы в зеленых мундирах, вповалку лежавшие по полям, приоткрыв стекленеющую полоску зубов, ни вызывали у меня вдоха ни радости, ни печали. Чужие, как камни, они были всего лишь частью зрелища наказанной гордыни, и втопанная в снег пряжка с выдавленным “Gott mit Uns”¹¹ выглядела горькой иронией. И вот он стоял здесь, а за ним виделись аккуратные домики с ванной, елки в разноцветных шарах, старательно возделанные многими поколениями виноградники и музыка Иоганна Себастьяна Баха. Оторванный от своих — стоял перед чужими, у которых не было ни ванн, ни уложенных в сундук скатертей, полотенец и наволочек с вышитыми крестиком изречениями, ни грядки роз под окном, —

только водка, единственное лекарство от убожества, нужды и невзгод. Глупый или, если хотите, наивный. И даже не в том было дело, что он один, а их много, и он безоружен, а они вооружены. Нет, психическая мощь их молчаливого ареопага превосходила его силы, он никогда еще не чувствовал при встрече с себе подобными такого напряжения, когда настоящая телепатия, обходясь без слов и знаков, разом спланирует единицы в отдельное от них самих целое. От слова, крика или песни ему стало бы легче. Из них — по всей видимости, полуграмотных — была какая-то монументальная умудренность безучастия. И то, что он не мог прочесть в обращенных к нему глазах ничего, вгоняло его в ужас.

Видимо, я должен был его ненавидеть. И прежде всего — за его глупость, помноженную на глупость миллионов ему подобных и тем самым подарившую Гитлеру власть, а из него самого сделавшую слепое орудие смерти. Но я не чувствовал ненависти. Почему-то он представлялся мне на залитом солнцем склоне, в летней рубашке, за тачкой с фруктовыми черенками. Другие тоже не испытывали к нему ненависти. Он, как зверек в клетке, до того боялся неизвестности, что один из солдат встал и угостил его самокруткой, и это движение руки означало мир. Другой подошел и похлопал по плечу. Потом к нему шагнул старшина и стал что-то долго, вразумительно втолковывать. Затея напрасная, немец не улавливал ни слова, но не отрывал глаз от шевелившихся губ говорящего: пес, пытающийся угадать смысл слов хозяина. По дружелюбному тону он понял, что мстить ему не собираются, обидеть не хотят. “Да не трусь ты”, — с нажимом повторял старшина. Ничего плохого ему не сделают, война для него уже кончилась, он теперь не враг, а обыкновенный человек, будет себе мирно трудиться, сейчас его отправят в тыл. Жалость, больше того, сердечность в голосе успокоили немца, и он несмело улыбнулся — в знак благодарности. Когда один из солдат полусонно поднялся с лавки и без приказа повел его наружу, они повернулись все с той же апатией — вконец вымотанные люди, добравшиеся до привала. Минуты через две конвоир возвратился, волоча белый кожух, кинул его рядом со своим вещмешком и скрутил сигарку. Затягиваясь и поплеывая на пол, видящие всем видом выражали грустное раздумье о краткости человеческой жизни: “Не судьба”.

Жестоко, скажете вы? Но попробуйте увидеть этот случай тогдашними глазами. Немцы истребили бесчисленное множество советских военнопленных, бросив их за колючую проволоку на голодную смерть; сведения об этом разошлись среди сол-

дат в мгновение ока, и при мысли о подобной опасности каждый поклялся сражаться до последнего. Число безоружных людей, уничтоженных гитлеровцами в Польше, выразалось цифрой, не уступавшей населению Швейцарии. Что до союзников, то их боровшимся с самосудом войскам удавалось иногда прятать пленных. Однако массовыми, особо обставленными действиями такого рода они только вызывали еще большую ненависть и презрение к немцам: жертвы, те при этом, на общий взгляд, как бы лишались даже остатков человеческого, делались откровенными марионетками, что уже само по себе разжигало месть; в свое время подобный психический процесс, например, обдуманно возбуждался в массах самими нацистами, направляясь против евреев и поляков. В нашем случае солдаты убили немца не по злобе, а по велению необходимости. Необходимость воплощалась в хлопотах по отправке в тыл одного-единственного пленного, либо в белом кожухе. Может, с их точки зрения, забрать у человека теплую одежду и выгнать его на мороз было бы нехорошо, неправильно. Мы ведь сами назначаем себе границы необходимости, проводя черту между неизбежным и возможным. Разыгранную ими человеческую комедию кто-то назовет подвохом, однако она всего лишь наилучшим образом выражала их внутреннюю потребность. Вполне искренне сочувствуя пленному, они вместе с тем считали, что такие дела следует делать по возможности мягко и тихо.

Кто знает, не здесь ли — самая суть нашего польского комплекса? Цепь сплетающихся хоть в какое-то целое причин и следствий длинна, и ни один из повинующихся ее диктату не в силах до конца осознать, почему она свилась так, а не иначе. Но заключительные звенья цепи, иначе говоря — ее структура, и не казались мне, так и этак крутившему тогда в мыслях происшедшее, чем-то решающим: структура ведь тоже проявляется не в пустоте, и сколько ты ее до окончательного экспортного блеска ни отделивай, а она все равно несет на себе ту же родимую почву. Я вспоминал некоторые сцены из русской литературы прошлого века и не мог отделаться от польского стереотипа, согласно которому русский если кого режет, то непременно обливая жертву горячими слезами. Однако прежде всего я с особой четкостью представил себе все, что приходилось читать о восточно-христианских сектах, в буквальном смысле слова близких мне, если иметь в виду мою “восточную” составляющую. В безжалостной природе и безжалостном общественном устройстве сектанты черпали убежденность в том, что мир безраздельно принадлежит Са-

тане. Упразднить его закон, как и законы самого творения, может лишь Царство Небесное. Поэтому русские мистики учили, что с приходом Царства Божия спасен будет не только человек, но и последний муравей и муха. Однако такое — до известной степени, нечеловеческое — сочувствие на практике разрывало связь между мыслью и действием. Ведь если до Христова пришествия мы полностью отданы во власть постыдного закона, то бунт нашего сердца бессилен. Позже, когда Царство Божие получило титул “коммунизма”, у его приверженцев могло быть, по крайней мере, то утешение, что их ведет вполне земная “железная необходимость”, а подчинение ей — на деле означавшее истребление противников, гнет и пытки — шаг за шагом приближает Великий День.

Конечно, солдаты могли уже не иметь ничего общего с христианством и даже не быть коммунистами. Но благодаря всему, окружавшему с самого детства, они напрактиковались в раздвоении, которое, стоит отметить, нигде за пределами их отечества не зашло так далеко. Государство с его величественной конституцией, школа, книги, — все нацеливало их на “идеалы братства”, “новый человек” был само благородство, сама чистота. Но это в теории, которая постепенно и независимо ни от чего разрасталась, как коралловый остров над поверхностью моря. Остров тот, впрочем, давно бы рухнул, не поддерживай его “заговор против правды”. Разыгрывая — и скорей перед собой, чем перед пленным — всю эту комедию, солдаты платили дань тому, что должно быть, вместе с тем отлично понимая, насколько в действительности все иначе.

А когда связь между мыслью и действием разорвана, благородные слова, дружеские объятия, слезы искренних признаний и вся эта хваленая и притягательная русская широта остаются чем-то вроде мысленного побега в свободную от давящих земных законов страну, где человек человеку — брат, в глубины подлинных переживаний, где можно позволить себе расковаться, хотя каким-то уголком сознания понимаешь: все это — лишь в рамках дозволенного. И что же тут удивляться, если потом один настучит на другого или его прикончит, ведь не мы виноваты, весь мир плох. Вот в Царствии Небесном (то бишь, при коммунизме) — там лев и вправду будет лежать бок о бок с барашком. Однако освобождение себя от любой ответственности быстро входит в привычку, а порог, за которым вступает в права пресловутая “необходимость”, оказывается куда как низким. Зло творят без воодушевления, но никто и пальцем не шевельнет, чтобы его из-

бежать. Причем за любым свободным поступком подогревается исключительно стремление к материальной выгоде.

Поляки достаточно близки русским по крови и достаточно напуганы изнутри слабостью собственной индивидуальной этики, чтобы не чувствовать эту опасность на себе. Но наше прошлое, сложившееся так, как оно сложилось, оказалось во многом избавлено от эсхатологических крайностей. Наши радикальные протестантские секты — закваска и предвестие позднейших демократических движений — не учили, будто справедливости на земле не достичь. И хоть порой они запрещали своим членам отправлять обряды (любая власть считает долгом утверждаться с помощью меча), но чаще все же спорили о том, как следовать евангельским заветам в современном обществе, иными словами — как организовать. В польской литературе не найдешь таких героев, как Алеша или князь Мышкин, стоящих перед дилеммой: или все в мире благо, или все — зло, — как не встретишь и отчаянного метания “лишних людей”, жаждущих высшей Цели, Бога, и почти на сто лет вперед предсказавших России революции с ее абсолютизмом целей. Ключевое, не меньше “Фауста” в Германии ценимое произведение польской словесности построено на прометеевом бунте против Бога во имя солидарности с угнетенным человеком (тягчайшее обвинение здесь: “И не Творец небесный ты, а ... Царь”¹²). Но бунт этот осложнен христианским послушанием и, вместе с тем, политическим действием во имя жизни людей (русский бы, наверное, выбрал или послушание и святость, или действие). Если взглядеться, заоблачный польский романтизм со всей его тоской куда ближе к земле, куда скромней, чем русский реализм, приправленный непомерной жаждой. И хотя я вынес из школы вполне ощутимые начатки раздвоенности, которые, думаю, и позволяли мне лучше других понимать русское, они уравнивались другими влияниями: обозначу их заглавием одной книги XVI века (мы проходили ее по программе) — “De Republica emendanda”¹³. Важной оказалась и привязанность к литовцам. Сравнивая их с поляками, я признавал превосходство литовской основательности и хозяйственности. Их взаимоподдержку и взаимовыручку могла бы взять за образец вся Европа. Материю, какую ни на есть, со счетов не сбросишь — по крайней мере, я этого делать не собирался.

Прав я или нет, не стану скрывать и самый свой главный комплекс. “Глубина” русской литературы всегда казалась мне подозрительной. Не слишком ли велика ее цена? Разве, выбирая из двух зол, мы бы не предпочли что-нибудь “поплоше”, будь

за этим как надо отстроенные дома, сытые и ухоженные люди? И чего стоит мощь, если всегдашний ее источник — опять лишь столичная власть, а тем временем в забытом Богом провинциальном городке снова и снова разыгрывается сюжет гоголевского “Ревизора”? Именно через Польшу времен моей юности проходила граница, отделявшая области, которыми некогда управляли Пруссия и Австрия, от тех, куда свидетельство своих управленческих талантов вложили русские. Империя была по обе стороны. Но мечтая начать с *tabula rasa*, русские революционеры лгали самим себе. Утвердившись в Кремле, они могли строить лишь из того “материала” людей, обычаев и привычек, который имели под рукой. И, что еще хуже, сами были слеплены из того же материала. Советские историки твердят, будто Иван Грозный, Петр Великий и Екатерина II были их “предшественниками”, трудясь на благо будущей революции. И хоть подобные представления о предшественничестве могут вызвать только смех, они немало говорят о культе силы, сметающей любые преграды приказом с единого престола, этой точки наивысшего контроля надо всем, — и о полнейшем пренебрежении к естественному росту.

В моем отношении к России — начало позднейших недоразумений между мной и моими французскими и американскими друзьями. Они, случалось, обвиняли меня в национализме, хотя прекрасно видели, что я не делю людей на лучших и худших ни по языку, ни по цвету кожи, ни по вероисповеданию и считаю коллективную ответственность разновидностью преступления. При этом их удивляла моя симпатия к каждому русскому по отдельности, моя предрасположенность в его пользу. Все вместе складывалось в какое-то непонятное для них целое. К сожалению, вынужден признать, что у меня нет языка, способного раз и навсегда отграничить одно от другого. И этот недостаток терминов — не только мой грех. В паническом страхе перед бреднями националистов и расистов XX век пытается засыпать разверзшуюся пропасть времен цифрами произведенной продукции или титулатурой нескольких государственно-политических систем, отказываясь вникать в тончайшую ткань реальных явлений, где нельзя упустить ни единой нити. Среди таких явлений и взгляды всеми забытых старых русских сект. Это только кажется, что прошлое канет без следа. По сути, оно незаметно преобразуется, и такие вроде бы далекие реалии, как уклад жизни в Древнем Риме, продолжают жить и сегодня, поскольку именно там и больше нигде сложились формы будущего католицизма. Или другой пример. Завоевание французами в средние века земель к югу

от Луары — событие, упрятанное в подсознании их жителей, — позже не раз проявлялось в протестантском, а потом и революционном настрое тех провинций. Когда описание стран и культур еще не было обставлено таким количеством запретов, связанных с разделением знаний по каталожным ящикам, авторы — и чаще всего путешественники — не пренебрегали следами времени, отпечатавшегося в наклоне крыши, выгибе рукоятки плуга, жесте или пословице. Журналист, социолог и историк вполне могли уживаться в одном человеке, пока — и с большим для себя уроном! — не расстались друг с другом. Некоторые афоризмы о взаимоотношениях двух наших стран и сегодня поражают какой-то не ухватываемой рассудком правдой. К примеру, русский писатель Дмитрий Мережковский говорил одному из своих польских собеседников так: “Россия — это женщина, у которой никогда не было мужа. Ее только насильовали — татары, цари, большевики. Единственным мужем ей могла бы стать Польша. Но Польша была слишком слаба”. Если кому-то трудно задуматься над справедливостью или несправедливостью этих слов, тогда, может быть, он хотя бы узнает в них некоторые следы старых и, право же, не во всем глупых людских верований?

Знание развивается неравномерно, устремляясь вперед в одних областях, топчась или даже пятясь — в других. Нынешний страх перед всяческими обобщениями, касающимися национальных и территориальных сообществ, заслуживают несомненного уважения, оберегая от прислужничества людям, которым нужна не правда, а добавочные аргументы в схватке за власть. И только когда поводы для подобных страхов отпадут, обученный видеть взаимозависимости разум проникнет в то, о чем более мудрые говорят сегодня с осторожностью и только за столом провинциального кабачка. А это наступит не раньше, чем оценка той или иной цивилизации перестанет быть орудием в борьбе против выработанного ею человеческого смысла, иначе говоря — нескоро. И поскольку судьба России решалась над Днепром в соперничестве с соседями, лишь тогда столкновение чувств, о которых здесь шла речь и которыми живут сегодня разве что напрямую вовлеченные единицы, станут темой, действительно волнующей каждого.

